

ЧЕМ МАНЯТ ВОЙНЫ?

Александр Мотелевич Мелихов

Писатель, философ, литературный критик, публицист.

Кандидат физико-математических наук.

Заместитель главного редактора журнала «Нева».

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 3.

E-mail: amelikhov@mail.ru

Вопреки мнению многих на Западе, русские постоянно вспоминали и вспоминают о Великой Отечественной войне, поскольку это было время великого подвига и великой красоты нации. В терминологии автора это одна из возвышающих грез. По этой причине внуки и правнуки воевавших считают победу своей: чувство гордости за предков делает их причастными давним событиям. Последняя война является для России главным фактором национальной идентичности: в ней видят не убийства, не унижение другого народа, но огромную жертву, тягчайшее испытание, с которым народ сумел справиться. Свою точку зрения автор подкрепляет выдержками из произведений А. Т. Твардовского и страницами личного опыта.

Ключевые слова: А. Т. Твардовский, «Василий Теркин», И. Т. Твардовский, военные дневники писателей, массовые репрессии.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-2-90-101

В детстве мы обожали играть в войну («наши!», «немцы!»), но что там было самым сладостным? Всадить фрицу в пузо штык и любоваться, как он корчится? Нет! Красиво упасть, раскинув руки, и печально смотреть в небо угавающим взором. Я иногда это проделывал даже за пределами игры и скорбно каменел, глядя в небо, пока не окликнет кто-нибудь из взрослых: «Ты чего валяешься?»

Вот что влекло к войне — не убийство, а мужество и жертвенность. То есть величие духа, а уж в убийстве оно никак не проявлялось — убийствами занималась и мерзкая шпана.

С возрастом к восхищению мужеством и жертвенностью (с примесью гордости предками) присоединились сострадание и благодарность — эти чувства сегодня и сделались доминирующими.

Тем, однако, кто не разделяет этих чувств, трудно поверить в их возвышенную природу. Тем более если кто-то их опасается.

Несколько лет назад в Гамбурге я принял участие в одной дискуссии. Тема была такая: почему Отечественная война является для России главным фактором национальной идентичности? До сих пор, то есть спустя — на тот момент — 70 лет? В воздухе повис провокационный вопрос, а нет ли в этом соотношении себя с прошлыми победами некой агрессии, не таится ли за патриотизмом, если это патриотизм, романтика насилия? Авторитетный преподаватель истории из Петербурга давал собравшимся разъяснения относительно той части молодежи, для которой война является предметом гордости: они видят в ней не убийство, не унижение другого народа. Для них война и победа — огромная жертва, тягчайшее испытание, с которым их деды сумели справиться.

Я же тогда сослался на стихи Александра Твардовского. Твардовский ведь никогда не писал ничего подобного «Убей его!» Константина Симонова. Хотя и у него очень твердо проведен мотив справедливости, в стихотворении «Возмездие» (1944), например: «Да, смерть — за смерть! // Да, кровь — за кровь! // За горе — горе!..» Но и там основная идея в обращении к врагу: «Проси пощады» — а значит, она возможна.

У обоих Твардовских, великого русского поэта Александра и его брата Ивана, значительно менее известного, но жившего не менее ярко и, быть может, более тяжело и страшно, есть воспоминания под названием «Родина и чужбина». Иван Трифонович выпустил такую книгу в 1996 г., а Александр Трифонович — раньше, в 1960-м. Это не целостное произведение, а сборник записок, очерков и рассказов, отчасти восстановленных позже, с 1942-го по 1945 г., по памяти, из пропавшей записной книжки времен самого начала войны. Из некоторых записей получались рассказы, например «За рекой Шешупой» (1947):

«Разрушенный город вывозят на дороги и вбучивают в раскисшие колеи, в трясину объездов, в колдобины и ямы прифронтовых шоссе. Иного материала для починки дорог здесь, на немецкой земле, нет!

— Дружно! Разом! — подает команду пожилой солдат с подоткнутыми под ремень полами шинели. — Нажмем!

Несколько бойцов, упираясь плечами в остаток стены, с грохотом обрушивают его внутрь бывшего дома.

— Ломать — не строить, — говорит пожилой, как бы смущенный тем, что его застали за таким делом. И выражено в одной этой короткой фразе все: и законное торжество победителя, и презрение к немцу, и горечь понесенных родной землей потерь, и дума о будущем, и тоска труженика-строителя по настоящей работе, и еще что-то не менее важное, чего никак отдельно не выразишь¹.

¹ Здесь и далее ссылки на издание отсутствуют, т.к. речь идёт о художественных текстах, опубликованных во множестве сетевых изданий. *Прим. ред.*

Казалось бы, все справедливо. Но все же пожилой солдат смущен, «что его застали за таким делом». И так на любой странице: вместо торжества над врагом — торжество над страхом, усталостью и болью. Германию в «Родине и чужбине» Твардовский описывал с горечью:

«Глубокая Германия, а снежные поля, вешки у дорог, колонны, обозы, солдаты — все как везде: как в воронежской степи, как под Москвой, как было в Финляндии.

Пожары, безмолвие... То, что могло лишь присниться где-нибудь у Погорелого Городища как сладкий сон о возмездии. Помню, отъезжали на попутной машине от фронта с давно уже убитым капитаном Гроховским: горизонт в заревах, грохот канонады, а по сторонам шоссе осенняя мгла, пустые, темные хаты. Помню живую боль в сердце: «Россия, Россия-страдалица, что с тобой делают!»

Но тот сон о возмездии, явись он тогда, был бы слаще того, что видишь теперь в натуре.

“Ломать — не строить”, — все чаще вспоминаются эти невыразимо вместительные слова солдата-дорожника».

Ни на родине, ни на чужбине Твардовского никогда не влекло убийство как таковое — только стойкость, только мужество, по простодушию своему даже не догадывающееся, что оно мужество, героизм, и не подозревающий, что он героизм. Поэт впервые испытал потрясение в самом начале войны: Красная армия отступала, оставляя врагу один населенный пункт за другим, и автор увидел «нечто странное и ужасающее» — беженцев: огромное поле, покрытое лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками.

«Здесь был уже лагерь, вокзал, базар, привал, цыганская пестрота беженского бедствия. Поле гудело. И в этом гудении слышались еще возбужденность, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось — оно в силах свалить состав с рельсов. Поезд тронулся. Мы, люди в военном, нарушая жестокий и необходимый порядок, втянули в вагон одну женщину, обвешанную узелками, перехватив с рук на руки ее двух детишек — лет трех и пяти. Она была минчанка, жена командира и, войдя в вагон, спешила подтвердить это документами, — маленькая, замученная, ничем не красивая, кроме, может быть, глаз, сиявших счастьем внезапной удачи. Ей нужно было в Белую Церковь, к родным мужа. Вряд ли она добралась туда — всего через несколько дней я увидел Белую Церковь, оставляемую нами.

Но удивительным и незабываемым было вот что. Женщина, бежавшая из Минска с детьми в ночь первой жестокой бомбежки, не успевшая проститься с мужем, находившимся теперь бог весть где, не только не жаловалась на судьбу, но всячески старалась, чтобы люди, не видевшие, не испытывавшие того, что уже довелось ей, не были слишком потрясены, не считали бы ее положение совершенно ужасным. Приткнув детишек в уголок нижней полки нашего купе, она строго, скромно присела там же на краешек, обдернула мгновенно уснувшим детишкам рубашечки, вытерла им вспотевшие личики, незаметно прибралась сама и, кажется, более всего была озабочена тем, чтоб не выглядеть слишком усталой, потрясенной и растерянной. Достоинство хозяйки, матери, женщины, у которой должно быть все в доме не как-нибудь, а хорошо и опрятно, сквозило во всей ее повадке, в сдержанной, экономной хлопотливости.

— Ничего, ничего, — говорила с грустной и самоотверженной счастливой улыбкой, — это еще ничего: дети целы, доберусь как-нибудь. А он напишет туда, старикам. Вот мы и спишемся».

Хочется цитировать и цитировать — книжка-то ведь почти забытая. Рассказ о санитарке Наде.

«В дыму подоженной во время боя деревни она натолкнулась на тяжело раненного лейтенанта. Его уже уложили на сани, первая помощь была оказана, но он лежал на перемешанной со снегом соломе в одной гимнастерке — шинель, должно быть, сбросил в горячке боя. Надя быстро сняла свою шинельку-маломерку, укрыла лейтенанта, а сама осталась в одной стеганке.

Из этой деревни она, может, и не выбралась бы. Немцы оттеснили наших на самую окраину. Автоматчики подошли уже так близко, что нужно было убежать. А ноги ее уже не слушались — так она была измучена, — а тут еще остается боец с залитым кровью лицом, пуля прошла у него по надбровью, и он ничего не видел и был слаб от потери крови. Тогда их заметил другой лейтенант, подхватил обоих за руки и потащил обходным путем из деревни. На выходе из деревни по дороге уже бил немецкий станковый пулемет, и пришлось там долго лежать на снегу, а Надя была вся в поту, разгоряченная и в одной своей стеганке.

Потрясения и муки этого дня сломили ее. Она была отправлена в тыл дивизии, в госпиталь. Вернулась Надя на работу остриженная и оттого ставшая как будто еще меньше ростом.

И снова она встретила на поле боя своего спасителя — лейтенанта. Теперь он был ранен в голову. И он узнал ее.

— Уходи, уходи, Надя! Дела мои плохие, беги.

— Нет, уже теперь я над вами хозяйка, товарищ лейтенант.

Она перевязала и вынесла его, но остался ли он жив, слышать ей не случилось.

Она уже так надорвалась, изнурилась, что просто глядеть больно — худышка, бледненькая, с наивно и как будто печально вздернутым носиком. И говорит о себе, осторожно покашливая, с грустью и жалостью не к себе, а к тому, что так ненадолго ее хватило:

— Перевязать я еще, конечно, перевяжу, но вынести уже не вынесу. Знаю, не вынесу».

Наде стыдно, что оказалась такой слабачкой. Старшего лейтенанта Костикова, двое суток пролежавшего в снегу при штурме деревушки Старые Мельницы, тоже не тянет признаваться, что он замерз: маленький, что ли? Неловко им, понимаете ли.

«Бой шел на огородах уже сожженной деревни... Жители в ямах. Обстрел. С десятков наших бойцов отбивали контратаки, уже многие ранены, положение почти безнадежное. Бабы и дети в голос режут, прощаясь с жизнью. И молоденький лейтенант, весь в поту, в саже и крови, без пилотки, то и дело повторял с предупредительностью человека, который отвечает за наведение порядка:

— Минуточку, мамаша, сейчас освободим, одну минуточку, сейчас будет полный порядок. Минуточку...».

Воистину — *святая простота* людей, которым стыдно, неловко быть жалкими, слабыми, тем паче отягчать собою других.

«Прочел на днях в “Огоньке” статью недавно погибшего П. Лидова “Первый день войны”. Это рассказ летчика Данилова, слышанный нами с Лидовым с год назад на КП полка истребителей, которым командовал подполковник Голубов, ныне Герой Советского Союза. Рассказ передан во многом верно, жаль только, что в нем нет той непосредственной живости, которая была в изустном изложении.

Человек в первое утро войны вылетел по тревоге, сторяча сбил шесть самолетов противника, затем был сам сбит. Раненый, с помощью добрых людей поправился и вышел из окружения. Самое сильное его переживание в этих боях первого утра был страх, что это не война, а какое-нибудь недоразумение и он, Данилов, сбив шесть немецких бомбардировщиков, наделал, может быть, непоправимых бед. Но когда его подбили и пытались добить на земле два “мессера” из пулеметов, когда он ползал во ржи, преследуемый ими, он таки уверился, что это война, и на душе у него отлегло: все в порядке, не виноват, а, наоборот, молодец. И когда мы слушали его, верилось, что именно так он и “переживал” это первое утро войны. Казалось, что он до сих пор еще сам радуется, что все обошлось так благополучно».

Зарисовки торжества у Твардовского попадают разве что самые беззлюбные или даже нелепые. Вот, например, одна из зарисовок, собранных под общим заголовком «В самой Германии»:

«В горящем, шипящем и осыпаемом с неба снегом с дождем городе без единой души жителей, в пустом ресторане, при трех зажженных свечах, сидит мокрый и заметно хмельной солдатик, не то чуваш, не то удмурт, один как перст.

— Что тут делаешь?

— В тристоране сижу. Три года воевал, два раза ранен был, четыре года буду в тристоране сидеть.

— Что ж тут сидеть? Нет ничего ни выпить, ни закусить.

— Не надо! Выпил уже там, — кивок в сторону окраины города-фронта. — Хочу сидеть. Три года воевал.

— Попадет тебе, брат. Шел бы, догонял своих.

— А это что? — заворачивает рукав шинели — там грязная бинтовка повыше запылясь. — Я в госпиталь направлен. А я в госпиталь не хочу. Хочу сидеть в тристоране. — Удар кулаком здоровой руки по стойке, одна свеча падает. — Четыре года буду сидеть!»

В зарисовках Твардовского есть эпизоды, в которых русские солдаты, находясь на своей территории, принимая участие в боевых действиях и становясь свидетелями фашистских зверств, лелеют мысль о мести врагу. Но стоит им оказаться в Германии, как ситуация меняется: по всей стране просто-таки не найти никого, по отношению к кому могла бы даже прийти в голову мысль о мести.

«Немка, первая жительница, которую я увидел в Германии, была не то больная, не то обезумевшая. В деревянных башмаках, в обтянувшейся трикотажной юбке, в какой-то зеленой, с бантиком, шляпке, она стояла у дороги, в одной руке длинная палка, в другой — хлеб, наш черный армейский хлеб — дал кто-то из бойцов. На нее смотрели как на диковинную зверушку, никто ее не обидел, наоборот, ее жалели, но жалели именно как зверушку.

Теперь их уже много прошло, немок, прислуживающих, убирающих помещения, берущих белье в стирку. Что-то тягостное и неприятное в их молчаливой работе, в безнадежном непонимании того, что произошло и происходит. Если б они знали, вернее — признавали хоть одно то, что их мужья и родственники вот так же были у нас в России, так же давали стирать свое солдатское белье, — да не так же, а гораздо грубее, с гораздо большим подчеркиванием права победителей, — если б хоть это они понимали. Но похоже, что они ничего не понимают, кроме того, что они несчастные, согнанные со своих мест, бесправные люди завоеванной страны, люди, которым мыть полы, убирать, обслуживать, а кому — не все ли равно: тому, чья сила».

Для побежденных ни солдатам, ни автору не хотелось страха и страданий. Скорее от них ожидалось простое понимание. Похоже, именно это чувство в отношении к их потомкам сегодня и осталось преобладающим: но поймите же и вы нас!.. В ту историческую минуту, впрочем, к победителям было гораздо меньше претензий, чем возникает сегодня.

«И наш воин, встречая по пути своего продвижения в глубь Германии разноязыкий люд, бредущий из плена домой, — будь тем домом Минск или Варшава, Париж или пограничные места Литвы, — он воочию, натурально видит себя воином-освободителем. Француз, поляк и люди иных языков и наречий с благодарностью машут ему рукой, шагая по обочине тесных немецких дорог, выкрикивают где-то пойманные и заученные два-три словечка по-русски».

В поэме «Василий Теркин» это развернуто в цельную картину.

И от тех речей, улыбок
Залит краской сам солдат:
Вот Европа, а спасибо
Все по-русски говорят.
Он стоит, освободитель,
Набок шапка со звездой.
Я, мол, что ж, помочь любитель,
Я насчет того простой.
Мол, такая служба наша,
Прочим флагам не в упрек...

Автор «Теркина» в ту пору мог бы смело повторить вслед за Пушкиным: «И неподкупный голос мой был эхо русского народа». Но я далеко не уверен, что Твардовский и сегодня удержался бы от упрека: прошло всего несколько десятилетий, и «прочие флаги» принялись адресовать упреки освободителю в шапке со звездой.

Как ни грустно, пенять здесь не на кого — ни на «зеркало», ни на «рожу»: в любом огромном деле, будь то хоть война, хоть борьба с эпидемией чумы, всегда огромен и список издержек, а потому, даже без прямой лжи, всегда сохранится возможность любое дело оценивать по достижениям или по издержкам в зависимости от того, чего требуют наши нужды. На справедливость в этом мире рассчитывать не приходится, красивыми словами все стороны лишь прикрывают собственные интересы, а интересы практически для всех важны *только сегодняшние*. Если они требуют дружить, то и прошлое будет изображаться вечной дружбой, а если требуют враждовать, тогда и вражда предстанет вечной.

Можно, конечно, скорбеть по поводу неблагодарности человеческого рода, однако он таков был, есть и таким останется, ибо эгоизм — стремление выжить любой ценой, не оглядываясь на то, во что это обойдется прочим, — базовое свойство всякого живого организма. Можно не сомневаться: любые наши упреки будут только стимулировать встречные обвинения. А вот почему бы нам не вернуться в сорок пятый год и не собрать изъявления благодарности и любви со стороны именно тех народов, которые сегодня видят в нас *вечную, всегдашнюю* опасность для себя, а следовательно, и для мира, ибо нет такого народа, который не считал бы себя ценнейшей частью человечества. Почему бы нам не издать сборник признаний в любви и благодарности, которыми нас когда-то одаривали хотя бы те же «брат француз, британец брат»? Может быть, нам всем было бы полезно вспомнить, что не бывает не только вечной дружбы, но и вечной вражды?

Пишу и сам понимаю, насколько это детское желание — усостить политиков, тогда как сама политика есть не что иное, как институционализация бесовности. Выгодно считать Советский Союз победителем нацизма — станут считать таковым Советский Союз, будет выгодно считать Америку — станут считать Америку, будет выгодно считать марсиан, станут считать марсиан, а русских назначат пособниками нацистов — все решает выгода: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, или тем, что я тебя побаиваюсь.

Как к этому следует относиться? Антисемиты давным-давно выучили меня забить и забыть о справедливости в отношениях с ними, а действовать так, чтобы минимизировать причиняемый ими ущерб. Когда они сильны — избегать столкновений, когда слабы — забыть об их существовании, но в любом случае не допускать в свою душу никаких обид: обижаться можно только на друзей.

Я вырос в семье репрессированного еврея, у которого было несколько таких же друзей — тоже репрессированных евреев, и я с детских лет знал и об истреблении командного состава, и о всевозможных провалах, и о неоправданных жертвах, и мне никогда не приходило в голову, что подлости и глупости мерзавцев и дураков каким-то образом отбрасывают тень на подвиги героев и мастеров своего дела, что мерзавцам и героям нужно выставлять какой-то общий средний балл. Наоборот, чем большее количество препятствий приходилось преодолевать героям, тем большего восхищения и сострадания они заслуживают (и тем большего презрения заслуживают те, кто сидел у них на шее, прятался за их спинами и путался у них в ногах).

Казалось бы, чего очевиднее — каждому свое: героям слава, мерзавцам позор. Но для прохвостов очевидностей нет, есть только выгоды, а политики и есть прохвосты всемирно-исторического масштаба. Мелкие прохвосты поднимаются на бытовых трагедиях, а большие — на исторических, и в какой-то миг прохвосты с обеих сторон негласно сошлись на том, что оценивать героев и мерзавцев нужно не по отдельности, не по отдельности восхитительным

восхищаться, а отвратительным возмущаться, но все это перемешать в единую бурду и уже эту бурду оценивать на вкус. Поэтому спор уже давно ведется лишь о том, много или мало мерзостей нужно допускать в мешанину, — одни прохвосты или глупцы стараются вбить в нее как можно больше мерзостей и ужасов под тем предлогом, будто этим они борются с героизацией трагедии, другие прохвосты и глупцы стараются мерзости и ужасы убрать с глаз подальше на том основании, что это ослабит в населении, а особенно в молодежи, патриотические чувства.

Что в корне неверно. Патриотизм заключается не в том, чтобы не видеть в истории своей страны ничего мрачного и скверного, а в том, чтобы знать, что в ней всегда было множество людей великолепных, изумительных и множество людей мерзких и безжалостных, и ты должен постоянно выбирать, с кем ты — с героями или с мерзавцами. Патриотизм вовсе не слепота и не стремление покрывать преступления худших достижениями лучших, а стремление по мере сил поддерживать лучших и противостоять худшим. В этом патриотическом ключе и следует писать историю Великой Отечественной — как историю побед и поражений, как историю подвигов и подлостей, и у любого нормального человека возникнет естественнейшее желание подвигами восхищаться, а подлостями возмущаться, никоим образом их не смешивая и не усредняя. Любить лучшее и ненавидеть худшее.

Да эта история, в сущности, уже и написана.

Оглядывая огромный массив советской военной прозы — самой что ни на есть оппозиционной, «окопной», «лейтенантской» или «партизанской», — не сразу замечаешь, что в ней полностью отсутствует мотив «потерянного поколения»: якобы все высокие слова обманули, нами воспользовались и тому подобное.

Разумеется, при советской власти подобные открытые декларации были невозможны, но ведь писатели — народ настырный, если какая-то правда представляется им до крайности важной, они протаскивают ее в мир не мытьем, так катаньем. Они могут отдать какую-то крамольную мысль отрицательному герою или даже герою положительному в минуту душевного упадка, чтобы тут же развенчать ее и отвергнуть (но семя сомнения в душу читателя все равно окажется заброшено). Они могут под псевдонимом или без пустить вещь в самиздат; они могут ронять какие-то намеки в статьях или интервью; они что-то могут выразить даже неуловимым настроением вещи вплоть до интонации, мелодии фразы; наконец они могут писать «в стол», чтобы выкрикнуть наболевшую правду потомкам хотя бы после своей смерти. Но ничего этого так никто и не сделал.

Виктор Некрасов, Эммануил Казакевич, Василий Гроссман, Василь Быков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Константин Воробьев, Виктор Курочкин,

Виктор Астафьев ни в подцензурном, ни в нецензурном слове ни разу не усомнились ни в целях войны, ни в огромной ценности достигнутой победы. Сколько бы они ни разоблачали, сколько бы ни проклинали бессердечие, шкурничество и глупость командования, бессмысленную жестокость и подозрительность «органов», воровство интендантов и всяческих тыловых крыс, война все равно оставалась для них великим историческим событием, причастностью к которому можно только гордиться.

А это означает, что война действительно была НАРОДНОЙ. И даже СВЯЩЕННОЙ.

Последнее слово кажется особенно странным — ведь сама ситуация даже при самом скрупулезном соблюдении «законов и обычаев войны» требует чудовищной жестокости... Но не только — еще, повторяюсь, и самопожертвования. Вот эта готовность людей подвергать себя смертельному риску во имя долга и порождает в памяти представление о святости, ибо люди никогда не жертвуют собой во имя утилитарных целей — только во имя святынь.

При этом святыня вовсе не обязана быть незапятнанной. Конечно, чем меньше на ней пятен, тем лучше, но — пятна пятнами, а святость святостью.

Серьезному писателю захотелось заглянуть и в душу дезертира только через четверть века после победы. Валентин Распутин в «Живи и помни» изобразил его отнюдь не чудовищем, он тоже отвечал на какую-то несправедливость. Но даже он не оправдывал свой поступок: если б можно было после этого поднимать, то по три раза бы расстреливали. В опубликованных дневниках Гроссмана тоже в глазах рябит от жестокостей и тоже нет ни намека на то, что можно воевать как-то иначе. А уж он ли был не гуманист!

Разумеется, всякий, кто сталкивался с войной вблизи или даже издали, прекрасно знает, что смертельная опасность тысячекратно усиливает все — и благородство, и низость. Каждый писатель — от Астафьева до Эренбурга — видел и мародерство, и садизм, и озверение, вымещающее на одних вину других, но никто не пожелал сделать насильника или мародера хоть сколько-нибудь значительной фигурой своего повествования. Борьбе с мерзостями они готовы были отвести разве что какой-то фрагмент публицистики, но для вечности все желали оставить лишь высокую трагедию — гениальнейшее создание человеческого духа, порождающее в нашей душе удивительное сочетание ужаса и восторга.

С другой стороны, в восторженных толпах, приветствующих вождей, ведущих к войне и ведущих войну, бросаются в глаза и уши самыми пылкими кликушами женщины. Это тот самый случай, когда достоинства оказываются опаснее пороков.

В последние десятилетия у России время от времени вспыхивали стычки то с одним, то с другим государством, и в моем окружении каждый раз наиболее

воинственно реагировали самые бескорыстные и жертвенные личности, которые среди мужчин встречаются заметно реже, чем среди женщин; циничных же и эгоистичных это практически не затрагивало. Так что самым действенным средством предотвращения войн, пожалуй, были бы всеобщий цинизм и шкурничество. Материальные конфликты при этом, разумеется, не исчезли бы, но в них всегда возможен компромисс: прекратились бы хотя бы крупные войны, в которых потери многократно превышают приобретения. А вот когда речь идет о святынях, о чести, о красоте, компромиссы невозможны: мир делается толерантным, когда у людей не останется ничего святого.

Желательно ли это? И возможно ли?

Экзистенциальная защита человека, защита от ощущения собственной мизерности и бренности требует причастности, а еще лучше — включенности во что-то великое и бессмертное, и трагедия современного человечества заключается в том, что массам открыто лишь величие насилия и сопротивления оному. Величие же научного и художественного подвига доступно лишь очень узкому аристократическому слою. И миру удастся нейтрализовать энергию войн лишь в том случае, если он сумеет конвертировать подвиг борьбы человека с человеком в подвиг борьбы человека с природой.

В том числе с собственным невежеством и эстетическим убожеством.

Но сегодня нет даже такой утопической грезы.

WITH WHAT DO WARS ATTRACT?

Alexander M. Melikhov

Writer, philosopher, literary critic, publicist.
Candidate of Physical and Mathematical Sciences.
Deputy chief editor of the “Neva” magazine.
191186, St. Petersburg, Nevsky pr., 3.
E-mail: amelikhov@mail.ru

Contrary to the popular opinion on the West, Russians were constantly remembering and still remember the Great Patriotic War, because it was a time of great feat and great beauty of the nation. In the author's terminology, this is one of the uplifting dreams. For this reason, the grandchildren and great-grandchildren of those who fought consider the victory as their own: a sense of dignity/pride in their ancestors makes them involved in long-ago events. The last war is the main factor of national identity for Russia: it is seen not as murders and humiliation of other people, but as a huge sacrifice, the most severe trial that the people managed to cope with. The author supports his point of view with references to the works of A. T. Tvardovsky and pages of personal experience.

Keywords: A. T. Tvardovsky, “Vasily Terkin”, I. T. Tvardovsky, war diaries of writers, mass repressions.